

18+

ИЗЛУЧИНА

Сергей Тимин



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Сергей Тимин

Излучина

<https://litres.ru/74523622>

SelfPub; 2026

Аннотация

Реставратор Полина Крылова приехала в родовое гнездо на берегу излучины продавать ветхий дом, а попала в 1913 год. Здесь её ждут штабс-капитан с детьми, мельник, у которого вода забрала сына, заговоры старой знахарки и река, ведущая свой счёт. Водоцвет шепчет по-русски, в тетрадке прабабки приписано: «После Ивана. Если уйдёт». Полина учится жить без интернета, заваривать шишечное варенье и врать свекрови, что она - «Полина Сергеевна, сирота из Костромы». А на календаре - Иванов день: тонкие места открываются, долги по роду зовут к себе, и всё решается не силой, а тем, сама ли ты вернёшься. Мистический любовный роман с попаданкой из архивного настоящего в Россию, которую мы потеряли.

Содержание

Глава 1. Наследство	4
Глава 2. Дневник	13
Глава 3. Дело	22
Глава 4. Вода	32
Глава 5. Стрешневы	41
Глава 6. Мастерская	51
Глава 7. Мельница	61
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Сергей Тимин

Излучина

Глава 1. Наследство

Звонок застал меня за старым столом, с пинцетом в правой руке и засохшим кофе слева. Я спасала чужую ведомость за тысяча восемьсот девяносто шестой год: отдирала плесень, расклеивала строчки и радовалась каждому проявившемуся слову, как радуются всходам на даче.

- Полина Сергеевна Крылова? - голос в трубке оказался деловитый и чуть картавый. - Говорит Галина Фёдоровна, нотариус, город Кострома. Вы внучка Веры Ивановны Крыловой?

- Внучка.

- Примите соболезнование. Ваша бабушка скончалась двенадцатого мая. По завещанию вам принадлежит дом в селе Излучина...

Я переспросила дважды. Не потому что не расслышала. Просто слово «скончалась» не лезло в уши в них до сих пор звенел бабкин смех. Вера Ивановна хохотала так, что на кухне звенели стаканы, и утверждала, что смех продлевает жизнь соседям и портит кровь нечисти.

Двенадцатого мая. А я в тот день спасала ведомость и ду-

мала про неё минуту - как раз когда замочила чай.

- ...дом с надворными постройками, земельный участок, - бойко вела нотариус. - Лично вам, без условий. Приезжайте когда удобно, оформим.

- Она больная была? - спросила я просто так, уже зная.

- Ходила сама, пироги пекла. Ушла тихо, во сне. Соседка Зоя её за чаем и нашла.

За чаем. Вот так она и умерла бы, если бы её спросили: с ложкой варенья, с анекдотом на губах и с запретом плакать.

Вера Ивановна растила меня каждый июль, а потом и подолгу, с тех пор как отец уехал работать в Норильск, а мать собрала вещи и сказала, что у неё «аллергия на глубинку». Бабка варила варенье из сосновых шишек, заставляла полоть грядки и рассказывала про воду. Не сказки про воду. Что она чует людей лучше собаки. Что её нельзя звать по имени. Что в Иванову ночь к реке не ходят, даже если зовут самыми хорошими голосами.

- И не купайся после грозы, - повторяла она каждый раз, будто вбивала гвоздь. - После грозы вода голодная.

Я кивала. Мне было двенадцать, потом семнадцать, потом двадцать пять. Я кивала и купалась в своей Москве, в бассейне на Дмитровке.

Галина Фёдоровна выговорила адрес и дату похорон - уже позавчерашнюю, меня не впустили вовремя, я была в командировке в Рязани, с чужими актами за тысяча девятьсот четвёртый.

- Полина Сергеевна, там ещё кот, - добавила нотариус уже совсем другим, домашним голосом. - Рыжий, с белой лапой. Соседи кормят. Вера Ивановна в завещании про него одной строкой: «Барин - сам выберет».

- Кого?

- Всё. Приезжайте.

Я повесила трубку и сидела ещё долго. За окном гудела Москва, в подъезде скрипел лифт, а из соседней квартиры пахло жареной рыбой. Ведомость ждала. Плесень не ждала - расползалась.

Тогда я ещё не знала, что дневник, ради которого стоило ехать, лежит в сундуке за перекладной сеной. Что в нём девичий почерк и первая строчка: «Май. Холодно. Скучно. Всё не так». Что за той строчкой есть моё имя - только не моё, а девочки, которая написала его про себя сто тринадцать лет назад.

Я знала только, что бабка умерла за чаем, что дом в Излучине теперь мой и что в мае вода ещё холодная. Глупая мысль. Непрошенная. Как будто кто шепнул.

Водолазом я не была. Нырять любила, и похоронные я не переносила. Всё сошлось так, как сходится у тех, кто уезжает, ещё не зная, зачем.

Через три дня я сдала ведомость, купила билет до Костромы и всю дорогу думала про варенье из шишек. Про то, как бабка стерилизовала банки, гремела крышками и приговаривала: «Кто не слушает - тот варит по второму разу».

Последний раз я звонила ей в апреле. Она сказала: «Приезжай на Троицу». Я ответила: «Не могу, дедлайн». Она рассмееялась тем самым смехом, от которого звенят стаканы, и сказала: «Тогда на Ивана. С меня купальский венок, с тебя внимание».

Я пошутила в ответ, что купальский венок принимаю. И даже не догадалась перекреститься. Бабка знала: не догадаюсь.

Автобус «Кострома - Заречье» отходил от самой облупленной платформы, какой только можно было отыскать на автовокзале. Внутри пахло бензином, мокрыми куртками и пирожками. На заднем сиденье уже сидели три бабки с узлами и вели разговор, от которого у меня зачесались уши.

- ...а в прошлом году мальчишка у Прохора нырял за венком и вынырнул белый как полотно. Говорит, тянуло вниз. Дедуший!

- Не дедуший, - поправила вторая, самая старая. - Волошница. Она на излучине живёт. Там вода круглый год тёплая не пускай Бог.

- На Ивана-то она кормится, - сказала третья и посмотрела прямо на меня, будто проверяла, слушаю ли. - Только не всякой кормится. Ей первая дочь в роду. Или чужая, да с чужим именем.

Я надела наушники, но музыку не включила. Старухи продолжали, и получалось, что наушники у меня просто для солидности, как у переводчицы с собачьего.

Рядом сел мужик в клетчатом пиджаке и тут же уснул, шапка у него уехала на глаза. Девочка напротив грызла семечки прямо в шелуху и строила из горошин узор. Автобус тронулся, и Кострома поплыла назад: панельки, реклама шиномонтажа, потом дачи, потом лес, потом опять лес, только с покосившимися столбами.

В Излучину ехали два часа. Я знала дорогу по бабкиным рассказам: сначала по правому берегу, потом мост, потом «не спи на повороте - увидишь церковь без купола». Церковь действительно показалась: серая, с забитыми окнами, а вокруг неё трава по пояс.

- Крутовражье! - выкрикнул шофер на остановке, которой не было. - Кто в Излучину - дальше пешком либо ждать Гену!

В Излучину шли пешком - километр по грунтовке вдоль реки. Река была широкая, серебристая, и на повороте делала такую крутую петлю, что вода в ней стояла почти неподвижно, как в чайнике. Вот она и была - излучина. Бабка говорила: «Река здесь обернулась и сама себя обняла. Вода себе водой и поится».

Гена оказался не нужен: Гена сам нашёлся. «Волга» цвета мокрого арбуза выкатилась из-за поворота и затормозила рядом со мной.

- К дому Веры Ивановны? - спросил водитель, не поздравившись. Года шестьдесят, кепка, усы, на приборной панели - лампадка и наклейка «Берегись Волошницы!» с нарисованной белой бабой. - Садись. Всё равно мимо.

- Это что, реклама? - кивнула я на наклейку.

- Агитация, - сказал Гена. - Дорожный участок просит. Тут каждое лето кто-нибудь тонет на повороте. Третий год подряд. Говорю: не поворот виноват.

- А кто?

- Излучина. - Он сказал это так, как говорят «подъезд» или «городская управа». - Дом твой на самом хвосте, за ольхой. Крыльцо синее, забор серый. Зоя ключи с утра принесла, бабка твоя распорядилась.

Излучина из автобусного окна и Излучина с водительского сиденья оказались двумя разными сёлами. В первом жили старухи с пирожками. Во втором - заборы, заросшие кусты смородины, три коровы на выгоне и огромная тишина, в которой слышно, как вода трётся о песок.

Дом бабки стоял на самом берегу. Крыльцо было синее, забор серый, ольха - страшная, с кривой веткой над воротами. В окнах отражалось небо, и мне показалось на секунду, что в доме кто-то есть и сейчас отойдёт от стекла.

- Ну, живи, - сказал Гена, выставив мой чемодан на тес. - И учти: вода здесь не для купания. Особенно сейчас.

- Сейчас - это когда?

Он посмотрел на меня так, будто я спросила, какого числа Новый год.

- До Ивана неделя. Ты разве не в курсе?

Я не была в курсе. Ехала просто разобрать вещи, вызвать оценщика, продать дом и вернуться к ведомостям. В кален-

даре у меня стояла Рязань, потом Тверь, потом чужой архив в Чехове. Ни одного праздника.

Гена уехал. Забор скрипнул. Из-за угла дома вышел рыжий кот с белой лапой, сел у крыльца и посмотрел на меня так, как смотрят на опоздавших.

- Барин? - спросила я.

Кот зевнул. Похоже, был согласен.

Ключи Зоя принесла сама и осталась навести порядок по её словам, «пока вы тут не освоились». Женщина лет шестидесяти пяти, платок в горошек, руки как у садовника.

- Меня Зоя Петухова, снизу от вас, через два забора, - говорила она, не переводя дух. - Вера Ивановна мне как сестра была. Мы с ней пели в хоре, пока хор не разбежался. Вы Полина, та самая, что в Москве бумаги чинит. Она фотографию вашу на комодержала. «Моя Полина, - говорила, - бумаге жизнь продлевает».

Дом внутри был неподвижен и пах сушёной мятой. Кухня - широкий стол, лавка, печь с лежанкой, чугунок, синие полосатые полотенца. В горнице - кровать, комод, шкаф, на стене - ковёр с оленями и фотография: сад, стол, люди в белом.

- Она последнее время всё на веранде сидела, чай пила и на воду смотрела, - рассказывала Зоя, доставая из буфета банки. - Мёд вам оставила. И варенье шишечное. Ешьте, не бойтесь, варено постом.

- Спасибо. Я недолго, честно говоря. Продам, может.

Зоя поставила банку и посмотрела на меня долго.

- Продавайте. Кому охота жить, где вода голодная. Только сначала разберитесь, что к чему. Вера Ивановна распорядилась: показать вам всё как есть, ничего не выкидывать до Троицы... то есть до Ивана. «Она всё увидит сама», - сказала.

- Что увижу?

- А я почему знаю. - Зоя завязала платок потуже. - Она загадками была. И поминала вас в своих заговорах, я слышала. Раз и вас, раз - Верочку. Я: «Вера Ивановна, какая Верочка?» Она: «Старшая». А Верочка-то - это прабабка ваша, тёзка. Их тут все Верами звали, по старой памяти.

Барин вошёл в дом следом за ней, осмотрелся, сел на лавку и принялся мыться так, будто устроился надолго.

- Кот сам выбрал, - сказала Зоя. - Вера Ивановна говорила: «Барин решит сам». Решите вы, а он подтвердит.

К полудню пришёл Слава Ковалёв, краевед, как он себя представил, мужик сорока лет в очках и в жилете с множеством карманов. Принёс банку мёда «взамен бабкиного» и сел на крыльцо, будто к себе.

- Изучаете родовое гнездо? - спросил он с надеждой.

- Продаю родовое гнездо.

- Вот как. - Он огорчился, но ненадолго. - А жаль. Дом-то усадебный, из флигеля большого дома. Излучинская усадьба Стрешневых, восемнадцатый век, от неё один флигель и остался. Мельница там, за протокой, и ваша сарайка - всё, что дожило. Изучал я эту усадьбу. Интереснейшее место!

- Чем же?

- Тишиной, - сказал Слава и поправил очки. - А если серьёзно - пропажами. Тут в тысяча девятьсот тринадцатом году из усадьбы пропал человек. Странник некто Ганка. Дело было, в архиве видел. А через неделю - утопленница. Не то чтобы связь, конечно. Просто июнь выдался.

Я сидела на ступеньках и слушала, а Барин сидел рядом и, казалось, слушал тоже.

- Утопленница - это кто? - спросила я.

- Местная девка. Имя не сохранилось, в деле - «неизвестная». Хотя нет, - Слава задумался. - Было там имя, пометка. Вроде как Вера. Но это я так, по памяти.

Внутри что-то похолодело - нелепо, по-детски, как холодеет, когда в чужой квартире находят свою фамилию на старой книге.

- Стойте. Вера?

- Ну да. Совпадение, разумеется. Имя тут у всех хватает. - Слава оживился. - Кстати, чердак у вас богатырский! Мне бы взглянуть на балки, там клейма топорные...

- Не сегодня, - сказала я. - И вообще я тут на неделю.

Он ушёл с видом человека, который вернётся. Я заперла дверь, прошла по горнице, заглянула в чулан - мешки, лопаты, короб с гвоздями, - потом в сени. Сени были холодные, дощатые, с двумя окнами в пол аршина. В углу стояла стиральная доска. Над доской, у самой перекладины, что-то темнело.

Глава 2. Дневник

Я подвинула доску, встала на корточки и посмотрела за перекладину. Там стоял сундук. Столярный, из тёмного дерева, с железными углами и замком без ключа. Ко мне Барин протиснулся первым, сел перед сундуком и хвостом по полу. Будто знал дорогу.

Замок был старый, дешёвый, ржавый. Я принесла из кухни нож и гвоздодёр и вскрыла его за пять минут, попутно порезав палец.

Кровь упала на крышку, и я невольно подумала о старухе в автобусе: «Ей первая дочь в роду». Глупости. Ведомость за тысяча восемьсот девяносто шестой год ждала в Москве, а я здесь боролась с сундуком, как наследница в мелодраме.

В сундуке лежали два предмета: тетрадь в тёмно-зелёной обложке, перевязанная тесёмкой, и толстая книга в чёрном переплёте, с обрывком бечёвки вместо закладки. На тетради - корявый, но старательный девичий почерк: «Дневник В. Стрешневой. 1913». На книге не почерк, а резьба по коже, выжженная иглой: «Лечебник».

Я открыла дневник наугад.

«Май. Холодно. Скучно. Всё не так».

Я улыбнулась - нелепо, сидя на холодных сенях с порезанным пальцем. Сто лет спустя в доме, который барышня не называла домом. Дальше шло про погоду, про гувернантку,

про пирог с капустой. И через строку: «Батюшка сердится, что Андрей с Лизой опять ругались. Дмитрий уехал в Петербург, хуже всех».

Меня что-то дёрнуло на этом имени - как дёргает на своём имени в чужом разговоре. Хотя меня звали не Дмитрий.

Лечебник я открыла осторожно, двумя руками. Там были травы, водицы, заговоры: от лихорадки, от зубной боли, от «дурного глаза». Почерк здесь был другой круглый, убористый, бабкин. Мой бабкин, узнала бы из тысячи. Вера Ивановна, оказывалось, не просто варила варенье. И на полях, между рецептом от опрелостей и заговором от кашля, было написано карандашом, сильно вдавлено, почти прорезано сквозь бумагу:

«Она ждёт дочь. Не ходи к воде в Иванову ночь».

Барин мурлыкнул. В сенях похолодало так, что я услышала, как за дощатой стеной трётся о песок вода.

Дальше в Лечебнике шёл заговор. Заглавие было выведено тщательно, подчёркнуто дважды:

«От Волошницы».

Ночью я читала дневник при керосинке - электричество в доме было, но лампочка в горнице дала такой скупой жёлтый свет, что языка пламени стало уютнее. Барин свернулся у колен, и от его тяжёлого мурлыканья страницы шевелились сами.

Дневник начинался скучно, как начинаются все дневники: «Май. Холодно. Скучно. Всё не так». Потом пошли люди.

«Батюшка наш, Сергей Борисович, ходит в одной тужурке и сердится на погоду. Слово дал не покупать новой до высадки рассады. Рассада высажена, тужурка цела. Батюшка победил».

«Андрей с Лизою опять ругались из-за перчаток. Он сказал, что она надевает их как крестьянка борщ, - горстями. Она сказала, что он смотрит на неё как на инвентарь. Потом они полчаса гуляли в саду и держались за руки. Взрослые меня дурят».

«Гришка уронил в колодец чурбан, чтобы проверить, правда ли вода на глубине звенит. Мочалкой по достоинству».

«Дмитрий пишет из Петербурга: собирает травы в гербарий, ходит в лабораторию, голодает и просит присылать баранки. Он у нас будет профессор, мы уже решили».

Имя мелькало чаще других: Дмитрий подсаженника ворон вылечил, Дмитрий привёз из города патефон, Дмитрий записывает в тетрадку «бабы небылицы» - батюшка ругается, а сам слушает. Дневник был влюблён в брата, в этом не было ни тени сомнения, - влюблён так, как бывают влюблены семнадцатилетние сёстры в тех, кто уезжает и присылает баранки.

Дальше пошёл майский разговор о том, что к Иванову дню приедет гость - «странничек, Егнат, он прошлой весной хлеба просил, а позавчера зашёл и матушка наша именинница, а именинницу-то и нет». Потом про мельника Прохора, что

«опять ворчит на воду и накладывает на плотину хлеб». Потом про гадалку Манефу, что сказала Вере странное: «Тебя суженый у воды схватит, да не того берега».

А потом я наткнулась на страницу, от которой замерла.

«Июнь, 10-го. Странник Егнат обедал с нами. Молитвы знает, в чём кается - Бог весть. Смотрит весело, а глазами - будто считает. Считает нас, решала я, и смешно мне стало: что тут считать, четверо мальчишек с одной барышней. Он похвалил мои волосы и сказал: «Первая краса в роду». Мне было приятно и дурно одновременно, как бывает от липового мёда».

«Июнь, 14-го. Случилось несчастье: малый у Прохора, Федька, что нырял за венком, вынырнул весь белый и без голоса. Манефа его отпаивала. Прохор кричал на весь берег, что воды не накормил. Странник Егнат в тот же час ушёл к протоке и вернулся весёлый, весь мокрый по колено».

«Июнь, 17-го. Тетрадь Дмитрия - сокровище. Он пишет про Волошницу. Что она - «хозяйка излучины», что вода здесь крутится сама в себя и потому помнит. Что «должок по роду» платят первой дочери. Я рассмеялась и спросила: значит, я должница? Дмитрий побледнел и велел молчать при батюшке. Дурацкая шутка. Дурацкая тетрадь. Зачем я это прочла».

Я закрыла тетрадь. Потом открыла снова дальше запись была через четыре дня, почерк сбивчивый.

«Июнь, 21-го. Ночью я видела на воде венки мой. Я его не

кидала! Говорю это всем, а все смотрят как на полоумную. Странник смеётся и шепчет мне: «Сама приплывёт - сама заберёт». Заберёт кого? Он показал на меня пальцем и пошёл к мельнице».

На этом запись обрывалась. Дальше страница - пустая. Потом ещё две пустые. А потом, нажимая так, что с той стороны проступили буквы, кто-то вывел тремя строчками:

«Не верьте воде. Она шутит».

Я сидела неподвижно. Керосинка дымила. Барин поднял голову и посмотрел на дверь.

На дворе была половина первого ночи, двадцать третье июня только что началось. Иванов день - двадцать четвёртое, а его злая ночь начиналась сегодня же, с закатом.

Странник Егнат. Утопленница. «Должок по роду - первой дочери». И моё имя в телефонном разговоре: «Полина Сергеевна Крылова, внучка Веры Ивановны». Которая верила в воду, варила шишки и писала на полях: «Она ждёт дочь».

Я достала телефон. На экране - полночь, 23 июня. В Москве у меня три непрочитанных от клиента и обещание сдать опись к четвергу.

А в Лечебнике, между заговором от опрелостей и заговором от кашля, так и лежало подчёркнутое:

«Не ходи к воде в Иванову ночь».

Бабка умерла двенадцатого мая. Завещала дом. И - «ничего не выкидывать до Ивана».

«Она всё увидит сама», - сказала Зоя.

Я вышла на крыльцо. Река за ольхой стояла чёрная и гладкая, будто её кто вылощил сукном. Было тихо так, что слышалось, как вода трётся о песок. Слышалось, считалось, ждало.

- Я не пойду к воде, - сказала я вслух, в пустоту, как говорят в темноте, чтобы себя успокоить. - Я взрослая.

Вода не ответила. Она и так всё поняла.

Снилась вода. Не море, не океан - именно та, местная: широкая, серебристая, с острым языком песка. Излучина лежала спокойно, как лежит сытый зверь, и по воде шла женщина.

Белая, длинная, с распущенными волосами, которые не мокли, а стелились, как стелется водоросль. Шла и улыбалась. Лица я не видела - всё время казалось, что оно вот-вот повернётся, и я очень-очень не хотела этого поворота.

Она остановилась против мостков и сказала чужим голосом, но моими словами:

- Полина. Первая дочь. Ты опоздала на сто лет.

Я проснулась от того, что Барин сорвался с колен и шипел на окно. За окном светало. Двадцать третье июня.

Лечебник я дочитывала при утреннем свете, пьёна ужасом и упрямством, как пьянеют от кофе. Книга была вовсе не про травы. Травы - только вход.

Заговор «От Волошницы» начинался на странице сорок и занимал всё, что было дальше. Писан он был разными руками и, судя по всему, разными годами. Бабкин почерк начинал середину. А первая половина была старая, дореволюци-

онная, с ёрами и титлами, как в требнике.

«На излуине вода вóду помнит и в себя вóду берет. Кто перекрестишься - тот и мимо. А кого зовут по имени родным, тот и должен. Должок по роду платит первая дочь, что после первой дочери. Слово данное - крепче узла. Свое имя не кричи над водою, чужого не называй. Платит, кто звал».

Дальше шёл сам заговор - ритмичный, нудный, на три голоса: «Водяница-матушка, прибрежница-сестрица, пригорная невеста...» Я читала про себя и всё равно шевелила губами. Потом обряд: полынь в левый рукав, серебро в правый, хлеб с мёдом отдать воде и ни за что не смотреть, как она его примет.

И между этими страницами - бабка. Её пометки. Её жизнь, раскиданная по полям, как сушёная мята.

«Проверено: помогает» - против заговора от грыжи.

«Сдуру показала Гене. Хвалил. Ставлю свечу за здравие» - против заговора от лихорадки.

«Ольга спрашивает, зачем я это пишу. Скажу: чтобы помнила» - Ольга, моя мать. Значит, мать знала про Лечебник и сделала вид, что знает только про варенье.

И карандашом, сильно, сквозь бумагу, о чём я уже знала: «Она ждёт дочь. Не ходи к воде в Иванову ночь».

И ниже, почерком уже дрожащим, вроде бы про меня, хотя меня тогда и в проекте не было:

«Первая дочь после Веры - это та, кого ждут. Вера моя своя, а дальше - чужие времена. Держать, пока могу».

Я закрыла книгу и долго сидела с холодными руками.

Здравый смысл подсказывал ровно то, что подсказывает всегда: старый дом, старые суеверия, старухи с пирожками, генетика скучных совпадений. Моя прабабка - Вера, умерла давно. Моя бабка - тоже Вера. Я Полина, то есть не Вера, но по крови от них. Первая дочь после Веры... Я? В этом сне? В этом доме?

Никуда я не поеду, решила я. Завтра - обратный билет. Вода пусть ждёт первую дочь с чужим именем - у меня в Москве опись, дедлайн и план на июль.

У мельницы я была к восьми. Просто посмотреть - туда, где во сне стояла белая. Протока была мелкая, заросшая хвощом, мостки - трухлявые, но держали. Стояла старая мельница, без крыльев, с покосившимся жерновом у порога. На жернове кто-то лепил из глины корову - мальчишка лет восьми, босой, в вытянутой рубахе.

- Ты чего? - спросил он.

- Да так. Посмотреть.

- Тут не смотреть, - сказал мальчишка важно. - Тут кормить надо. Прохоровна кормит.

- Кто такая Прохоровна?

- Мельничиха. Старая. Она каждую ночь хлеб кладёт. Говорит, вода помнит.

Я обошла мельницу кругом. Вода здесь правда была другая: тёмная, неподвижная, и по ней шли круги - тихие, широкие, будто кто-то только что ушёл под воду и ещё дышит.

На обратном пути меня догнала бабка с коромыслом - та самая, наверное, Прохоровна, просто я не спросила имени. Она остановилась, посмотрела мне в глаза долго и сказала шёпотом:

- Внучка Веры Ивановны?

- Внучка.

- Значит, ты та, за кого она держала. - Бабка перекрестилась на воду, не на церковь. - Не ходи к мосткам в ночь. У нас тут вчера мальчишка белый вынырнул - старостин внук. Егдаша твой барин его вытащил.

- Кто Егдаша?

- Да Геннадий, таксист ваш. - Бабка усмехнулась одним ртом. - Он вам наклейку на машину клеил? Агитация. Наша тут агитация. Передавала ему: не суйся на излучину после грозы. А он ныряет за пивом.

Она ушла, покачивая коромыслом. А я вернулась в дом, открыла Лечебник на заговоре и прочла заглавие ещё раз. «От Волошницы».

Водолазом я не была. Но плавать любила, а нырять - больше всего на свете.

Глава 3. Дело

Быстров приехал к обеду не один, а с двумя: с худым юристом в очках и с водителем-бугаем, который всё время нюхал воздух, будто нюхал вежливость. «Тойота» белая, с шильдиком «СтройИнвестБерег» на двери. Быстров сам вышел первым, широко распахнул руки и закричал с ворот:

- Вера Ивановна! Вот это я понимаю - мать русского гостеприимства!

- Вера Ивановна умерла, - сказала я с крыльца. - Я внучка. Он не смутился ни на секунду. Руки опустились, лицо выстроилось в скорбь, и через мгновение он уже тряс мне руку и поздравлял с наследством.

- Юрий Павлович Быстров, - представился он. - Ваша бабушка - светлая ей память - вела со мной переговоры. Локальный бизнес, развитие берега. Мы хотим - внимание! - отельный комплекс. База отдыха «Излучина». Экологический туризм!

- Бабушка обещала продать дом?

- Бабушка обещала обсудить, - поправил юрист. - Протокол беседы ведётся с прошлого года.

Мы сидели на веранде. Я поставила перед ними банку варенья - шишечного, из тех самых шишек, - и чай. Быстров ел ложкой и хвалил так, будто варенье было его заслугой.

- Полина Сергеевна, - говорил он, запивая. - Дом - аварий-

ный. Сарай - аварийный. Мельница - аварийная. Ольха - аварийная, - он рассмеялся. - У вас всё тут требует вложений. А я вам предлагаю генеральный план. Сумма - пять нулей. Не гривенников.

- Не продам.

- Это сегодня не продам. - Он поднял палец. - Завтра придет оценщик. Потом инспектор, дом признают непригодным. Потом суд, потому что есть намерения инвестора, а намерения инвестора в этом районе - это рабочие места. Я вам по-хорошему.

- По-хорошему - уезжайте.

Юрист достал бумагу - предварительный договор, третий вариант, шрифт восемь. Бугай продолжал нюхать воздух. Быстров вдруг переменялся - весёлость сошла с него, как сходит пар.

- Послушайте меня, девочка, - сказал он тихо. - Я двенадцать лет таскаю эту землю по инстанциям. У меня здесь всё схвачено: земля, СЭС, благоустройство. Ваша бабушка - одна! - сидела на этом клочке и всем про меня небылицы рассказывала. Про воду, про какую-то бабу в воде. Насмешила полдеревни. Вы молодая, грамотная. Не будьте бабкой. Возьмите деньги и живите в Москве.

- Бабка, - сказала я, - в этом доме прожила шестьдесят лет. Она варила варенье из шишек, знала заговоры и умерла за чаем. Я её больше не узнаю, если продам вам крыльцо. Уезжайте, Юрий Павлович.

Он ушёл, слегка подтолкнув юриста в спину. На выезде остановился, высунулся из машины и крикнул уже без всякого выражения:

- Деньги имеют запах, а вода - нет! Подумайте!

К вечеру они вернулись. Быстров был пьян - светло, деловито, с красным пробковым лицом. Водитель держал его под локоть. Они вышли на мостки - те самые, трухлявые, к излучине, - и Быстров стал орать на воду, раскинув руки:

- Слышь, Волошница! Забирай свою Волошницу! Берег будет мой!

Я бежала к мосткам, потому что мостки трещали, а Быстров, показывая воде фигу, шатнулся и пошёл вниз боком, через перила, тяжело и нелепо.

Хватать успела. Уцепилась за его ремень, мы вдвоём качнулись над чёрной водой, водитель вцепился мне в куртку и мы повалились все трое обратно на доски, кряхтя и матерясь.

Быстров сидел на мостках и дышал. Вода под нами была гладкая, как лак. Ни круга.

- Видите? - сказал он пьяно и победно. - Ни хрена она меня не взяла!

- Уйдите отсюда, - сказала я, держась за сломанный ноготь. - Завтра. Утром.

Он уехал в тот же час. Фары «Тойоты» шмыгнули за ольху, и мостки опустели. Я сидела и смотрела на воду - спасённый Быстров, сломанный ноготь, ладонь, горящая от досок.

И только когда все ушли, поняла странную вещь.

Вода не зашевелилась. Не было кругов даже от падения, даже от того, как в неё хлестнула струя, когда мы валились. Она приняла в себя человека и не ответила ни волной.

Будто и не хотела его. Будто ждала кого другого и терпеливо дожидалась, когда суeta с барышами уйдёт прочь.

Барин сидел у самого края мостков и смотрел в одну точку. Я последовала за его взглядом - туда, где излучина обнимала саму себя.

Там, на самом локте изгиба, стоял веноч. Купальский, из полыни и крапивы, с толстой белой свечой посередине. Я его не плела.

- Это кто? - спросила я у кота.

Кот моргнул и пошёл в дом.

Слава явился следующим утром, с пакетом ксерокопий и лицом человека, который всю ночь не спал от счастья.

- Вы не поверите, - сказал он с порога. - Я ждал вас в архиве, а вы уехали. Дело я таскаю с собой двадцать лет. Поизучал тут вашу усадьбу. Разрешите?

Я разрешила. Он разложил бумаги на широком столе - копии пожелтевших протоколов, обгоревший по краям формулярный лист, и среди прочего фотографию, приклеенную на картон.

- Усадьба Излучина, Костромской уезд, - читал Слава, поправляя очки. - Владелец - отставной штабс-капитан Сергей Борисович Стрешнев. Двор - четверо. Дети: Андрей, Дмитрий, Вера, Григорий. Далее - дело о неизвестном отсутствии.

Двенадцатого июня тысяча девятьсот тринадцатого года из усадьбы ушёл и не вернулся странник, называвшийся Егнатием. Лет сорока, борода, в речах из Священного Писания. Признаки: следы обхода окрестных дворов, просьбы о подавании. Заподозрен в краже серебряной ложки.

- Странник Ганка, - сказала я.

- Егнатий, он же Ганка. В деле - оба имени. - Слава перевернул лист. - А это июльское дело. Неизвестная утопленница, вынесена водой на отмель ниже мельницы. Одета в домашнее платье, на пальце - перстень с печаткой. Оpoznана местными как дворовая девка из Заречья.

- Дворовая?

- Нет, извините, опечтался. Не дворовая. - Слава дёрнул головой, будто отмахнулся от мухи. - Барышня. Вера Сергеевна Стрешневая, семнадцати лет.

Я сидела и не дышала.

- Вера.

- Вера. Дочь владельца. - Он посмотрел на меня снизу вверх, и веселье с его лица сошло. - Я-то думал, совпадение. Ваша бабка - Вера Ивановна, прабабка, я так понимаю, тоже Вера... Но вы смотрите, как я вчера в архиве.

- Она утонула?

- Нет, - сказал Слава. - Вот тут странность. Дело заведено по заявлению отца - «дочь в воду ушла». А через две недели - приписка, другим почерком: «Утопленница опознана как неизвестная пришедшая девица, в усадьбе Стрешневых не зна-

чится». И всё. Дело закрыто. Вера Сергеевна Стрешневая в графу умерших не внесена. Стрешневы вскоре уехали из губернии. Есть сведения, что прожили долго.

Он молчал, давая мне переварить. Я переваривала медленно.

- То есть утонула не она. Утонула другая. А Вера выжила.

- Выходит так. - Слава покрутил пальцем у виска. - Дело кривое. В тысяча девятьсот тринадцатом бумаги вели аккуратно. А тут неразбериха, будто писали спьяна или от страха.

Он пододвинул фотографию. Снимок был сделан в саду, у накрытого стола: четверо за столом, мальчишка на перилах, девка с косой - у дома, и ещё двое в тени ольхи. Стол накрыт скатертью, на скатерти - самовар. Все смотрят в объектив, кроме одного - высокого юноши в светлой рубаше, который смотрел не в камеру, а чуть мимо, будто угадывал за спиной фотографа дорогу.

- Дмитрий, - сказала я, не думая.

Слава поднял брови.

- Вы откуда?

- Угадала. По дневнику. У меня есть дневник Веры Сергеевны, - сказала я и вдруг поняла, что не хотела бы это говорить. Слишком быстро, слишком легко, будто меня кто-то подтолкнул. - В сундуке нашла.

- Вот оно что! - Слава просиял. - Первичный источник! Полина Сергеевна, это сенсация районного масштаба!

- Успокойтесь. Это моя семейная тряпка.

Я взяла фотографию, чтобы рассмотреть ближе. Снимок был плохой, серый, с пятнами. Люди таяли в серебре. И только вода за ними - излучина, та самая, с острым языком песка - вышла чётко, темная, как разлом на бумаге.

- Стойте, - сказала я. - Что это?

Я показала на край снимка. Вода, вода, вода, и на самом изгибе - светлое пятно. Не отражение, не царапина: женщина. Белая, длинная, с волосами, которые стелились по воде. Она смотрела на стол. Она улыбалась.

Слава наклонился, надвинул очки на очки и задержал дыхание.

- Брак эмульсии, - сказал он наконец.

- Это брак эмульсии.

- Ну да. Пятно проявителя. Либо инопланетянин. Выберите.

Он собрал бумаги, оставил мне копии «на семейное изучение» и ушёл обедать, обещая прийти вечером с камерой. Дом опустел. Барин спал на Лечебнике - прямо на заговоре, свесив белую лапу.

Я перечитала протокол: «Опознана местными как барышня». Перечитала приписку: «Как неизвестная пришлая девица». Кто-то два раза написал про одну и ту же ночь два разных имени. Кто-то очень хотел, чтобы Вера Стрешневая числилась утонувшей.

Или - наоборот. Чтобы та, которую вода взяла, не имела имени.

«Свое имя не кричи над водою, чужого не называй. Платит, кто звал».

Я убрала копии в Лечебник, сверху положила дневник и завязала всё бабкиной тесёмкой. Стемнело рано - тучи шли от реки, низкие, круглые, как корыта. К вечеру обещали грозу.

«Не купайся после грозы, - звенело в ушах. - После грозы вода голодная».

Зоя пришла вечером с горшком щей и сразу к печи - топить, мол, натопим, без печи в вашей горнице сырость стоит.

- Свечи у вас есть? - спросила она, не оборачиваясь.

- Какие свечи?

- Церковные. Вера Ивановна перед Ивановой ночью всегда просила. В восемьдесят седьмом, помню, в церкви закрытой доставала, через сторожа. Стоит на мостках свеча, читает книжку, венок на воду и домой. Я её однажды, в девьяностые, с фонарём провожала. Она мне и говорит: «Зоя, не люблю я эту ночь. Но долг есть долг».

Я поставила чайник и рассказала всё. Про сон. Про дневник. Про дело Славы. Про то, что в Лечебнике написано про «первую дочь». Зоя слушала молча, помешивая щи, и только лицо у неё добрело и старело.

- Знала я, что вы расскажете, - сказала она наконец. - И она знала. «Моя Полина бумагу чует, - говаривала. - Прочтёт и заплачет, и всё равно пойдёт».

- Куда пойдёт?

- Ну. - Зоя села напротив и взяла мои руки в свои, как берут пораненный палец. - Вера Ивановна вам не бабка. Она вам, выходит, прапрабабка. Из тех Стрешневых. Там счёт такой: первая дочь в каждом колене. У них в роду всё дочери в одну сторону шли, я уж не знаю, как это выходит. Вера Сергеевна - та, барышня, - потом Наталья, потом наша Вера Ивановна, потом ваша мать Ольга, потом вы.

Комната поплыла, но только для меня. Чайник свистел исправно.

- Зоя. Это бред.

- Бред, - согласилась Зоя. - Как и всё тут. Она вам дом оставила не проста. Держала она, держала, а силы кончаются. Говорила: «На Ивана кто-то должен встать на мостки и сказать своё имя. Или оно само назовётся». Уходи, говорила, или борись - выбор за внучкой.

- А если я уеду?

- Уезжайте. Кто вас держит. - Зоя встала, помешала щи и вышла со двора, не прощаясь, как уходят от постели.

Я сидела в горнице, а на столе лежал Лечебник, и тесёмка держала мёртвых и живых. Первая дочь после Веры. Наталья - моя прабабка, я никогда о ней не слышала. Вера Ивановна - бабка, моя, родная, кормившая меня вишнёвым вареньем. Ольга - мать, которая «имела аллергию на глубинку» и, выходит, уехала отсюда не от скуки. Я Полина, двадцать семь лет, Москва, пинцет и плесень.

И вот сон, в котором меня звали по имени. И белая, сто-

ящая на излучине. И венок, который я не плела.

Глава 4. Вода

Я достала телефон и позвонила матери. Мать взяла со второго гудка - значит, ждала.

- Мам. Бабка варила варенье из шишек, писала заговоры и боялась воды. Ты это знала?

- Знала, - сказала мать. Молчание. - Уезжай, Поля.

- Она пишет, что мы от Стрешневых. Что первая дочь...

- Уезжай! - мать рассмеялась вдруг нервно, совсем не по бабкиному. - Не сегодня уезжай. Завтра, с утра, первым автобусом. Она всю жизнь это держала, я не хотела, чтобы тебе досталось. Дом продай Зое за копейку, бумаги подпиши по доверенности.

- Мам, что такое Волошница?

Трубка замолчала. Потом мать сказала тихо, будто в комнате есть ещё кто-то:

- Это та, кого бабка называла «наша». Та, кому мы должны. Она тебя звала? Поля, она тебя звала?!

- Было дело.

- Стой. Стой дома, не ходи к реке. Я приеду. - Голос матери дрожал. - Она шутила, что «наша» каждую ночь всё умнее становится. Что шутки кончились ещё до войны. Брось ты всё и...

В трубке зашипело не помехи, нет. Шипело так, будто кто-то долго дышал в мокрую тряпку. И в этом шипении, да-

леко-далеко, я расслышала другое - свой двор. Свою ольху. Скрип мостков.

- Мам, я перезвоню.

Я вышла на крыльцо с телефоном. Ночь была тёплая, грозовая, пахло мокрой травой и костром - кто-то в Заречье жёл сорняки. Мостки скрипели, хотя ветра не было. И на мостках - я видела отчётливо, в свете фонаря с кухни - стояла банка из-под варенья.

Вчерашняя. С шишечным. Свечи в ней не было.

И кто-то только что вынул из банки ложку.

Я заперла дверь, окна, даже заслонку печи, будто заслонка могла что-то. Лечебник лег под подушку. Барин сел у изголовья, вытянувшись столбом.

Гроза пришла к полуночи. Свет, гром, ливень по жестяному отливу, и вода за окном - уже не река, а сплошное говорящее месиво.

Телефон молчал. Мать не перезванивала.

Стучали не в дверь в ставни, широкой стороной ладони, как стучат к мельнице. Я вскочила в третьем часу, с Лечебником в руке, как с пистолетом, и услышала за стеной голос Быстрова:

- Открывай, законная! Дом под осмотр! Есть санкция моего терпения!

Свет мелькал - фонари через щели ставень. Я считала голоса: Быстров, бугай и, пожалуй, юрист. Пьяные все трое, судя по тому, как они переговаривались - весело и перебивая.

- Юрий Павлович, - крикнула я с горницы, - уезжайте. Я вызываю полицию.

- Полиция в Костроме! - заржал Быстров. - Она приедет к утру, я тоже! У меня тут акт на осмотр! Мой дом будет через месяц, я хозяин здешних вод!

Топор лег в паз с сухим треском. Потом второй. Потом дверь дёрнулась в косяке.

Я набрала Гену - он был в телефоне «Гена такси, везу всех» - и сказала коротко: «Люмятся». Гена сказал короче: «Сижу».

За окном горницы послышался смех, потом шорох - кто-то полез в чулан, швыряя лопаты. Потом звук сундука: я узнала этот звук, потому что сама вскрывала замок. Щелчок, скрип крышки.

Я вылезла в окно кухни под фартуком Лечебник, дневник, телефон, - и побежала вдоль забора, к соседнему двору, где жила Зоя. За спиной кричали: «В шкафу смотри! Договор у неё, я видел!» - и хохотали, будто искали клад.

Зоя не спала. Она открыла до стука и толкнула меня в сени, мокрую от ливня.

- Тише, - прошептала она. - Я звонила Егдаше. Он с рога-тиной уже.

- Рогатиной?!

- А чем ещё? - Зоя крестилась на все четыре стороны. - Вера Ивановна говорила: «Зоя, я не от боярышни прячусь». Хуже, милые, хуже тех, от кого прячутся. Не в топоре дело.

В том, кто за ними стоит и чего хочет.

Гена приехал через десять минут - трясся от ярости, срезанным хворостом в руке и в майке «Берегись Волошницы!». Он вошёл в мою горницу, как вошёл бы в свою, нашёл троих у распахнутого сундука и выгнал их за ворота. Не подрался - просто стоял в дверях, огромный, мокрый, с хворостом, и говорил ровно, по-мужицки:

- Уйдёте добром. Я Степаныч. Мой дед - тоже Степаныч. Здесь деда моего вынули из воды, а Прохорова - нет. Я всех вас знаю поимённо. В Костроме вы инвесторы, а здесь вы гости. Не люблю, когда гости в шкафах.

Быстров вышел последним, бледный и уже трезвый. На выезде он обернулся и сказал совсем другим голосом - тихо и точно:

- Дело не во мне. Дело в том, что вы последняя. Она меня просто не любит. Она вообще никого не любит. Она считает.

Фары скрылись за ольхой. Гена постоял у сундука, крестясь на него, как крестятся на покойника.

- Уезжай, - сказал он мне. - Пожалейте себя. Тут всё по старому счёту: как до Ивана не разберёшься - дальше считается само.

- Гена. Она назвала меня Верочкой. Во сне. И в трубке - было...

- Знаю, - сказал он. - Бабка твоя звала её «нашей». Как свою. А она чужая. Она к себе зовёт. - Он тряхнул головой и вдруг рассмеялся зло и коротко. - Эх, Вера Ивановна! Всю

жизнь - венок, свечка, книжка. А выросла-то одна. Одна она тут и держала!

Он ушёл через забор, к Зое, а я осталась одна. Дождь кончился. Треснула ставня, сундук пустой и злой, в чулане - обломки короба с гвоздями.

За окном, в получасе ходьбы, стояла излучина.

Барин сидел у порога и ждал. Я знала, чего он ждёт. Он ждал, что я пойду.

Я сказала себе: «Я взрослая. Я архивист. У меня опись». Я сказала: «Не надо». Я сказала ещё раз.

А потом взяла Лечебник, потому что я первая дочь, и пошла.

Ночь после грозы бывает чистой так, что больно. Трава блестела, лужи стояли ровные, в каждой - своё небо с обломком луны. Я шла тропой вдоль ольхи, и трава была по колено, и каждая травинка была видна.

Мостки вышли из темноты серые и мокрые. И венок. Он лежал на самой воде, у самого края, и свеча в нём горела.

Горела в ливень. Горела на ветру. Пламя было ровное, жёлтое, каким пламя не бывает. Я увидела это, и меня прошило насквозь: не страхом - злостью. Хорошей, ясной злостью человека, который вдруг понял, что с ним играют.

- Хватит, - сказала я вслух. - Слышишь? Хватит!

Вода была неподвижна. Излучина лежала тёмная, сомкнувшись, будто сжала локоть. Ни звука - только свеча трещала тихо, как трещит разогретый сахар.

- Я прочла всё! - кричала я, и голос мой шёл по воде ровно и без эха, что было невозможно. - Я знаю про счёт! Про первую дочь! Про твои шуточки! Я не Верочка! Я Полина Сергеевна Крылова, мне двадцать семь лет, я из Москвы, и я вас не боюсь!

Дальше случилось то, чего я не ожидала, - самое страшное из всего.

Вода - улыбнулась.

Не зашевелилась, не заклокотала. На ней просто пошли круги - широкие, тихие, от центра излучины, - и в этих кругах луна сломалась, и свеча дрогнула, и венок качнулся и поплыл ко мне. Медленно. Как плывёт посылка.

Я сделала шаг назад. Венок - шаг вперёд.

И тогда вода сказала. Не голосом - нет. Она сказала чужим горлом, моим горлом, чужим ртом, моим ртом, шёпотом со-рока бабок из автобуса:

- Верочка?!

Что-то схватило меня за щиколотку. Не рука - вода рукой. Холодная, гладкая, сильная, как петля. Я упала на доски лицом вниз и увидела внизу, между щелей, - вода между щелей смотрела на меня снизу. Светлая. Тёплая. Родная.

- Нет! - я вцепилась ногтями в доску, нога уходила вниз, в гладкую петлю, - нет, я не она!

- Ты она, - прошептали моим горлом. - Первая дочь после Веры. Я столько ждала. Я считала.

Доска треснула. Я полетела вниз и вода приняла меня мяг-

ко, как принимают подушку, и потянула вниз, в темноту, в самый сгиб изгиба.

Последнее, что я видела сверху, - свеча во венке. Она горела себе и горела, уплывая вверх, в крохотный круг неба.

Последнее, что я слышала, - смех. Не злой. Добрый, домашний, со звоном стаканов.

- Ну что, - сказала бабка, - пошли.

Дальше было тихо. Дальше было тепло. Дальше вода воду помнила и в себя воду брала и я вспомнила вдруг заговор целиком, наизусть, как вспоминают слова своей песни:

«Кто перекрестишься - тот и мимо...»

Я перекрестилась уже на дне. И стало светло.

Не бело - светло. Как в горнице, при керосинке. Как в мае, когда бабка варила шишки. Пахло сеном, мокрой извёсткой и ещё чем-то - укропом, да. Укропом и лошадыю.

Надо мной небо было низкое и голубое, с тяжёлой грозовой тучей на севере. По траве, мне в лицо, тикала осока. На мостках - новых, светлых, сосновых - стоял мальчишка с ушастым котом на руках и смотрел на меня огромными глазами.

Он сказал:

- Батюшка! Тётя из воды вышла! С книжкой!

Я сидела на отмели - мокрая, в московской куртке, с телефоном в кармане и с Лечебником под мышкой. Руки у меня были целы. Нога - цела. Свежий синяк поперёк щиколотки, ровно такой, какого не остаётся от петли, а остаётся от руки.

И синяк был похож на перстень.

На том берегу, в тумане, маячила усадьба - большая, с двумя флигелями, с аллеей до самых мостков. Не моя усадьба. Не руины Славы.

Человек в светлой рубаше спускался с крыльца широким шагом.

И я поняла, сколько сейчас времени.

Мне было двадцать семь лет, а было - июнь тысяча девятьсот тринадцатого года.

Мальчишка был худой, рябой и радовался так, будто выловил не женщину, а сома. Кот у него на руках был рыжий, с белой лапой, и смотрел на меня без всякого удивления.

- Сиди тихо! - крикнул он кому-то за спиной. - Она очу- хивается!

За его спиной толпились ещё двое - босые, в рогожках, с самодельной удочкой. А по мосткам, быстро, не крича, шёл высокий юноша в светлой рубаше, расстёгнутой у горла. Шёл и смотрел мне в лицо - прямо, внимательно, как смотрит врач.

- Гришка, отойди от края, - сказал он, не повышая голоса. Сел рядом на песок, не спрашивая разрешения, и взял меня за запястье. Пульс. Настоящий, живой, человеческий пульс. - Вы меня слышите? Вас зовут?

- Пол..., - я запнулась. Вода глотала имена - я вдруг знала это твёрдо. - Нина. Меня зовут Нина.

- Нина. Меня Дмитрий Стрешнев. Это наша отмель, хоть

мы её и не держим. Что с вами случилось?

- Я упала, - сказала я. - С мостков. Гроза.

- В нашу излучину? - мальчишка расхохотался и получил по затылку. - Там вода крутится! Там нырять нельзя! Там...

- Григорий. - Юноша не оборачивался. - Тише. - И мне: - Вы приехали к соседям? Из Заречья? Одежда на вас не наша.

Я посмотрела на себя. Куртка - дождевая, тёмно-зелёная, джинсы, кроссовки. Сухие. Совершенно сухие, будто меня не топили, а аккуратно поставили.

- Из Москвы, - сказала я. - Я этнограф. Собираю поверья.

Дмитрий Стрешнев замер с моим запястьем в руке. Потом улыбнулся - широко, мальчишески, всем лицом.

- Этнограф? - переспросил он. - Вы? Этнограф?

- А что?

- Ничего. Просто наконец-то. - Он встал и подал мне руку. - У нас тут тетрадь есть. С поверьями. Двенадцать лет я пишу, батюшка ругается, а сестра считает меня дураком. Сейчас сестра будет считать дураком вас.

Глава 5. Стрешневы

Мы шли по мосткам, потом по аллее - широкой, липовой, ещё мокрой после грозы. Усадьба росла из-за деревьев и была совсем не моя: два флигеля, господский дом с колоннами, фонтан без воды, с полосатым зонтом. По лужайке бежала собака. Из кухни валил дым. Всё было живо, громко, пахло сеном и печёным хлебом, и от этого пахнущего, кричащего, скрипящего мира у меня закружилась голова сильнее, чем от воды.

- Куда вы меня? - спросила я, останавливаясь.

- В дом, - сказал Дмитрий Стрешнев, как будто в этом был весь план. - Вы мокры, вы одна, вы вышли из воды, где вода круглый год тёплая и где, по мнению местных, ждёт своей хозяйка. При таких данных в дом. К нам. Батюшка - штабс-капитан, он не кусается. Сестра - кусается.

- А мальчишка?

- Мальчишка - Гришка, мой брат. Двенадцатый год, третий класс, ведёт себя как последний язычник. Кот - Кузька, он его носит, потому что кота в воде оказалось жалко.

- Он тоже вынырнул?

- Кот не тонет, - важно сказал Гришка, догоняя нас. - Кот думает. Если бы мы все думали, как Кузька...

- То не было бы ни русской литературы, ни посада, - договаривал Дмитрий. - Входите. И назовите себя целиком, пока

бабушка не спросил. У нас тут каждое утро - дознание.

Я вошла в дом. В сенях стояли сапоги, висели полушубки, пахло табаком и мокрой шерстью. На стене - часы с кукушкой. На полке - лампадка. За перекладиной, в углу, - стиральная доска.

Я узнала эти сени.

Те же доски, те же два окна в пол аршина. Только сундука не было на его месте стояла кадка с геранью.

- Нина? - спросил Дмитрий, оборачиваясь. - Вы побледнели. Садитесь, я воды...

- Нет, - сказала я слишком быстро и слишком громко. - Нет воды. Спасибо. Я Нина Гурьева. Этнограф. Из Москвы.

Он поклонился - шутливо, чуть в ногу, совсем по-старому.

- Очень приятно, Нина Гурьева. Вы первая этнографша в истории усадьбы. И, надеюсь, не последняя.

Гришка поставил Кузьку на пол. Кот обвёл меня глазами, зевнул и сел у герани - ровно на том месте, где сто лет спустя сидел бы Барин.

И я поняла вдруг ясно, как понимают во сне, что сон кончился не до конца.

Что дом - тот же. Что кот - тот же. Что сто лет - это только вода и сгиб изгиба.

- Нина Гурьева! - повторил Сергей Борисович Стрешнев, угощая меня пирогом с капустой. - Этнограф! Слушайте, дети, этнограф к нам приехал! Зафиксировать бы это в семейной хронике: «Июнь тысяча девятьсот тринадцатого го-

да. Гроза. Этнограф».

Сергей Борисович был высокий, седой, с усами домиком и с такой широкой улыбкой, что ей прощалось всё и дознание, и шутки, и то, что пирогом он меня кормил, не давая договорить.

Мы сидели за длинным столом в столовой. Стол был накрыт скатертью - той самой, с каймой, - и на нём стоял самовар, и пахло укропом из салатника. Меня посадили между Дмитрием и девочкой в косой, и первые десять минут я отвечала на вопросы так, как отвечают на экзамене, который сдаёшь со стороны чужой жизни.

- Родители?

- Умерли, - сказала я. Самый короткий ответ. Самый безопасный.

- Сирота, - вздохнул Сергей Борисович. - И одна по губерниям? В летнем платье?

- Костюм походный, - поправила я. - Шьют в Москве, для дач и поездок. Очень удобно.

За столом переглянулись. Девочка в косой - Вера, я поняла сразу, по глазам, по тонким рукам, по тому, как она держала вилку, как держат перо, - спросила тихо:

- А гимназию вы кончали?

- Кончила. И курсы. Женские.

- Слушайте, - вмешался старший, Андрей, широкоплечий, с отцовскими усами и с лицом, привыкшим командовать ещё до обеда, - к нам из Москвы нарочно едут? Что у нас тут

собирать? Бабы небылицы?

- Андрей, - сказал отец.

- Я серьёзно, батюшка. У нас: пляски на Троицу, водяной у мельницы, Манефа с порчей. Курсовая работа.

- Именно, - сказала я, и голос мой стал твёрже, потому что это была моя территория, моя профессия и моя единственная правда во всей этой лжи. - Поверья. Заговоры. Обряды, связанные с водой. Особенно с вашей излучиной. О ней тут, говорят, врут от Костромы до Галича.

- От Костромы до Галича врут про всё, - заметил Дмитрий.

- Слышь, Дмитрий! - обрадовался Гришка. - Она твою тетрадь закажет!

- Тетрадь?

Дмитрий покраснел - мгновенно, до ушей, как краснеют двадцатидвухлетние.

- Пустяки. Записываю разговоры с крестьянами. Иван Фомич, Прохор мельник, Манефа Шептунья... У меня там уже три листа про Волошницу.

- Волошница, - повторила я.

- Ну да. Хозяйка излучины. Сказка с дном, - он говорил быстро, как говорят о своём увлечении. - Смотрите: вода у нас тёплая круглый год - родники, геология. Вода крутится сама в себя изгиб, течение. И целый пласт поверий. У Прохора сын малый помер: тонули вдвоём, отца вытащили, мальчишку - нет. С тех пор Прохор каждую ночь кладёт на плотину хлеб. Говорит: «Она считает».

- Кто считает?

- Вода. Сколько взяла, сколько должно взять. - Дмитрий вдруг осёкся и посмотрел на меня исподлобья. - Вы ведь смеётесь?

- Я записываю, - сказала я, хотя в руках у меня не было ничего.

- Вот именно! - Сергей Борисович хлопнул по столу. - Этнограф подтверждает! Вера, запиши в книгу гостей: «Москва прислала подтверждение». И не подливайте Нине, она постная.

- Я не постная, - машинально сказала я.

Все рассмеялись. Вера смеялась тихо, прикрывая рот ладонью, и смотрела на меня снизу вверх доверчиво, как смотрели те, кому семнадцать и кому скоро понадобится, чтобы кто-то был рядом.

- А вы долго у нас пробудете? - спросил Андрей. Он спрашивал так, как спрашивают на посту.

- Неделю. Если разрешите - угол.

- Угол есть, - сказал Сергей Борисович. - В флигеле, у Дарьи Петровны. Наша экономка, наша совесть и наш семейный суд. Она о вас уже знает, потому что знала о вас ещё до вас. Не спрашивайте.

- Батюшка, - тихо сказала Вера, - ведь она тонула.

За столом стало тихо. Даже ложка в салатнике перестала звенеть.

- Что значит - тонула? - спросил Сергей Борисович.

- Ну. - Вера сжала салфетку. - Она вышла из воды. Вон там, за мостками. Я видела из окна: Гришка её тащил. Она же вся из воды! Значит, тонула!

- Значит, крестились, - сказал отец и посмотрел на меня долгим взглядом, от которого я вдруг поняла: этот человек командовал ротой и знает, когда ему врут. - Нина... Ивановна?

- Сергеевна, - сказала я, и стол покачнулся. - Нина Сергеевна Гурьева. Сирота. Этнограф. Недельку.

- Неделечку, - согласился Сергей Борисович, не отводя глаз. - На здоровье. Только, Нина Сергеевна, у нас тут правило: в Иванову ночь к воде не ходят. Ни своим, ни чужим. Кто с чужим именем - тот в ответе.

- У меня, - сказала я, - своё имя.

- Вот и славно, - сказал он и поднял стакан. - Тогда выпьем за науку. И за то, чтобы наука до ужина не утонула.

Вера рассмеялась. Дмитрий подлил мне чаю и прошептал, наклоняясь:

- Батюшка всем говорит про Иванову ночь. Спите спокойно. Водяных не бывает.

- А если бывают?

- Тогда, - он сказал это весело, но рука у него на чайнике остановилась, - тогда это самое интересное, что с нами случится.

Часы с кукушкой куковали полдень. Солнце шло по ска-
терти. Кузька спал у дверей, свесив белую лапу, и всё в этом

доме было - моё, чужое, сто лет назад.

Тетрадь оказалась в толстой обложке, в саржевой обёртке, с пером и маленьким пузырьком чернил в кармашке. Дмитрий достал её со стыдом и торжеством сразу, как достают домашнюю работу на проверку.

- Вот. «Поверья Костромского уезда». Двенадцатый год собираю, с университета. Батюшка говорит - у меня голова не на то работает. Андрей говорит - хуже. Гришка за. Гришка за всё, что не ведёт к занятиям.

Мы сидели на веранде. После обеда дом заснул: Сергей Борисович с газетой, Вера с вышивкой, Андрей уехал к Бекетовым «на смотрины», которые смотрами не были. Тишина стояла сиреневая, пахло липой.

Я перелистывала тетрадь и не верила своим глазам. Это была - работа. Толковая, аккуратная, с источниками, с датами, с картой уезда, приклеенной на обложку изнутри.

- Прохор, мельник, пятьдесят лет, - читала я вслух. - «Вода на изучине тёплая круглый год от ключей. Водится в ней хозяин ли спросить нельзя, а то счёт откроет. Кладёт Прохор на плотину хлеб: „Должен, и отдам“. Сын у него, Федька, в прошлом году вынырнул белый, до Троицы без языка».

- Верно, - сказал Дмитрий. - Прохор - мой первый информатор. Дальше - Манефа, шептунья, восемьдесят лет. Она считает, что Волошница не водяной, а «прибрежница». Женское. «Хозяйка имени».

- Хозяйка имени?

- Ну. - Он вытянул ноги и сложил руки за головой. - Местные верят, что у воды есть имя, но его нельзя называть - тогда она отзовётся. А человек, чьё имя крикнули над водой - тот и должен. Это повсеместно: отсюда «не зови меня в воде», отсюда запрет звать по имени через реку. Я это у Гомера вычитал, у нас то же самое. Разница в том, что у нас верят буквально.

- А вы нет?

- Я этнограф, - сказал он с достоинством. - Я верю в ключи, в течение и в геологию. А в поверья верю как в источник. Вы понимаете.

Я понимала лучше, чем он думал.

- Тут есть, - сказала я, показывая страницу, - про «должок по роду».

- А. - Он привстал и наклонился над тетрадью, и я вдруг почувствовала его руку у своей руки - близко, тепло, по-настоящему. - Это лучшее. Манефа говорит: вода держит счёт роду Стрешневых. Прапрабабка наша, Наталья Дмитриевна, в девятьсот девяносто... ой. В девятьсот первом году утонула не утонула, сама... ну. Ушла в воду и не вернулась.

- Как?

- Матушка у нас умерла при родах Гришки, - сказал он просто. - Вернее не при родах. Через неделю. А до этого она три дня ходила к воде и кричала в воду что-то. Служба говорила - горячка. Манефа говорит - расчёт. По Манефе, Наталья Дмитриевна дала когда-то слово: «Возьми вместо него

первую дочь». Кого - «вместо него», за кого поручилась - Бог весть. А с тех пор первая дочь в каждом колене - её и считают.

- И вы это записали, - сказала я, - и не верите.

- Я записал, - сказал он и вдруг совсем не улыбался, - потому что дневник сестры кончается тремя строчками, а я хочу знать, чем он кончился. Верочка в прошлом году чуть не ушла в воду. Помните, малый Прохоров за венком нырял? Так вот веночек-то был Верин. Она его не кидала. Веночек сам поплыл. А она за ним.

Мне стало холодно.

- Что?

- Федьку вытащили. Веру - тоже. Она с тех пор молчит про ту ночь. - Он говорил тихо, не глядя на меня, глядя в аллею. - Вот почему я этнограф, Нина. Не потому что верю в геологию. Потому что в геологии не бывает, чтобы веночек поплыл к берегу и ждал. Не бывает, чтобы вода считала.

- И что считает?

- И считает, - повторил он за мной, как повторяют молитву, выученную в детстве, и посмотрел на меня. - Вы ведь не этнограф.

- Я этнограф.

- Нет. - Он сказал это мягко, без тени допроса. - Этнографши пишут в блокнот. Вы читаете мою тетрадь, как читают свой черновик. И от слова «должок» у вас побелели костяшки. Я не жандарм, Нина. Мне всё равно, кто вы. Мне

важно, что вы знаете.

Я сидела и думала. Солнце шло по веранде. Кузька вышел из дома, потянулся и сел между нами, положив лапу мне на колено.

- Я знаю, - сказала я наконец, - что ваша сестра права. Что вода здесь считает. И что до Ивана осталось два дня.

- Да, - сказал Дмитрий Стрешнев. - Две.

Глава 6. Мастерская

Мы молчали. Потом он сказал совсем другим голосом, живым и мальчишеским:

- А всё-таки: какая вы этнографша! Вы же первый человек за двенадцать лет, которому не смешно.

- Мне, - сказала я, - тоже не смешно.

И добавила про себя, думая о белой, стоящей на излучине, о свече, горевшей в ливень, о синяке в виде перстня:

Мне страшно. Но я останусь на неделю. Потому что Вера Сергеевна Стрешневая, семнадцати лет, улыбается сейчас в вышивку, и в протоколе за июль тысяча девятьсот тринадцатого года про неё написано два разных имени.

Мастерская помещалась в подвале на Малой Пироговской, пахла желатином и пылью, и в ней всегда было двенадцать градусов - реставраторы говорили: «наш подвал - как тонкое место: держит».

Полина работала над требником семнадцатого века - дело было рядовое, частное, с дедлайном. Требник принадлежал семье, которая жила в Вологде и торопилась к юбилею. Полина вычищала плесень, подклеивала корешок, сводила края бумажной кожи и каждый вечер вела журнал: лист, повреждение, вмешательство, время.

- Ты его не книгу лечишь, - говорил Марк, с соседнего стола, - ты ему эпикриз пишешь.

- Так и есть, - говорила Полина.

У Марка шла библия в коже, с чернильными жуками. У Светки из филиала - карта Костромской губернии, селение приписано карандашом, не отмечено в атласе, и Светка уже месяц вела переписку с краоведами, потому что «селище есть, а селища нет».

В четверг Полина закончила переплёт. Пятница шла на закрытие дела: фотофиксация, справка, сдача. В шесть вечера она выключила вытяжку, погасила лампу над столом и стала ждать - чего, сама не знала.

Подвал молчал. Соседский требник лежал закрытым, тёплый от лампы, как отлежавшийся хлеб. Полина провела по корешку ладонью и вдруг поняла, что не помнит, о чём думала весь день.

Помнила - вчера. Помнила - утро: метро, кофе, булочную на углу, где булочник знает её «как всегда». День - нет. Будто день этот кто-то прожил за неё, аккуратно, без ошибок, и даже журнал она заполнила своим почерком.

Она открыла журнал. Почерк был её. Время было представлено. Работа сделана чисто.

- Дура, - сказала Полина себе вслух.

И в подвале это вышло громко.

Телефон лежал в сумке, на беззвучном, с тремя пропущенными: мама, мама, Гена. Гена-Егдаша звонил редко, по делам дома: крыша, проводка, налог на землю. Полина перезвонила с площадки, между этажами, где ловит.

- Полина Сергеевна, - сказал Гена, - доброго. Слушай. Нотариус из Костромы. По дому твоей Веры Ивановны. Срок встал: либо ты, либо дальше всё муниципалитету.

- Я же подала заявление.

- Ты подала, - сказал Гена. - А у них в графе - прочерк. У нас тут, - сказал Гена и помолчал, - у нас тут вообще много прочерков. Съезди ты. На днях.

Полина стояла на площадке и смотрела в окно. Во дворе играли в футбол, мяч стучал в решётку, и от этого стука у неё была одна простая, взрослая, московская мысль: отпроситься на неделю, взять отпуск за свой счёт, закрыть дело, поехать.

А вторая мысль была не московская.

Вторая мысль была о том, что дом тот стоит на излучине, что вода там считает по-своему, и что прочерки бывают разные: одни в бумагах, а другие в людях, и вторые не заполняются никогда.

- Поеду, - сказала она.

- Вот и славно, - сказал Гена. - Водитель я. Дорогу знаю. Только, Полина Сергеевна, - сказал он ещё тише, - там у тихой тетки Прасковьи в прошлом году спроси. Она чего.

- Чего?

- Не знаю, - сказал Гена. - И не спрашивал. А ты спроси.

В субботу она сдала дело. В понедельник взяла билет. Требник уехал в Вологду в футляре, с биркой и с эпикризом, и Полина проводила его до машины, как провожают на вы-

писке: на всякий случай, с добрым словом.

В мастерской остались Марк с жуками, Светка с пропавшим селищем и двенадцать градусов круглый год.

Погасив свет, Полина огляделась. На стене висел их общий календарь-календарь на 2026 год, с детскими фотографиями архивных дел, и июнь в нём был обведён красным: отпуск.

Двадцать третье она выделила жёлтым по привычке выделять дни сдачи.

Потом стёрла жёлтое ногтем, долго, до белой бумаги.

И закрыла подвал на ключ, как закрывают на зиму дачу, - с чувством, что она тут больше не работает.

Что дело её тут закрыто. Дальше - подлежит.

Первое утро в усадьбе началось с кур, и второе тоже. Я проснулась от того, что петух стоял на подоконнике и орал мне в ухо, как орут в казарме, а за ним в открытую дверь теснились полосатые и чёрная, злая, с горящими глазами.

- Пошли! - кричала Дарья Петровна из кухни, махая полотенцем. - Пошли вон! Оспа вас побери!

Куры вышли, петух последним, с достоинством. Я сидела на кровати и думала, что сто лет назад день начинается громче.

В горнице накрывали к завтраку - большому, сковородному, с яичницей из шести яиц, с блинами, с мёдом, с ряженкой в глиняном кувшине. Сергей Борисович ел молча и много, как едят в походе. Андрей собирался к Бекетовым и выправ-

лял усы перед крошечным покосившимся зеркалом. Гришка сидел с тетрадью и списывал у меня, украдкой, буквы: моё «у» ему показалось «самым честным».

- Григорий, - говорил отец, не поднимая глаз, - с чужого не списывают.

- У неё не чужое, - говорил Гришка. - У неё будущее.

- У всех будущее, - говорил Сергей Борисович. - У некоторых с курами.

Вера тихо ела блин с мёдом и косилась на меня: подружка, семнадцать лет, вся в ожидании, что сейчас будет интересно. Ей почти всегда казалось, что сейчас будет интересно, и она почти никогда не ошибалась.

- Нина, - сказала она. - Пойдём после завтрака, покажу сад. И старую оранжерею. И где мы купались в прошлом году.

- Купались? - переспросила я.

- В пруду, - сказала Вера. - Не в реке. Реку мы боимся. Пруд глухой, стоячий, в нём хоть черти.

- В пруду и черти, - согласился Дмитрий, входя с улицы, весь в росе, с гербарием под мышкой. - Я тут нашёл папоротник той породы, что зацветает, по поверью, в Иванову ночь. Цвести не будет, но для тетради годится.

- Папоротник не цветёт, - сказала я.

- Вот именно, - сказал Дмитрий, садясь и разворачивая листья по скатерти. - А поверие есть. Где логика, Нина? Где ваша наука?

- Моя наука, - сказала я, - сидит в сундуке за перекладной

сений.

Все рассмеялись, кроме Дарьи Петровны, которая несла тарелку и сказала, не оборачиваясь:

- Смеётся тот, кто не считал.

Завтрак кончился тем, что Гришка уронил в сметану перо, и это объявили хорошим знаком, и Сергей Борисович велел подать к чаю варенья - шишечного, зелёного, тягучего.

- Оно у нас семейное, - сказал он, угощая меня. - Матушка варила. Теперь Дарья. Скоро - Вера.

- Я тоже буду варить, - сказала я, и ложка замерла у меня на полдороге. Я вспомнила банки на бабкиной кухне, дым, липкие крышки, стаканы, которые звенят от смеха.

- Нина? - спросил Дмитрий.

- Я тоже буду варить, - сказала я. - Через сто лет.

- Сложный рецепт, - сказал Гришка.

Утром меня разбудили куры. Не фигурально - куры. Двое полосатых и петух влетели в флигель через заднюю дверь и стали ходить по комнате, как ходят гости, о которых никто не звал. Дарья Петровна прогнала их метлой и поставила передо мной чай с мятой.

- Вот, - сказала она. - Снарядилась вчера как на войну. Куда это вас вода вынесла?

- Из Москвы.

- Врать не хорошо, - сказала Дарья Петровна и ушла к печи.

Экономка была сухая, прямая, лет шестидесяти, с лицом,

на котором всё было записано крупным почерком. Она ходила по дому в тапочках, шурша, и знала о нас всё до обеда.

Утро я провела в огороде с Верой. Девочка полола грядки и говорила без умолку о том, что Петрушка в этом году горчит, что Андрей опять помолвлен-разомолвлен, что Гришка взял в школу жабу и учительница молится, что Дмитрий из Петербурга привёз патефон и отец заставил его играть под пение, а сам плакал в бороду.

- Он у нас добрый, - говорила Вера, выдёргивая репей. - Батюшка. Только матушки очень. Он с ней тут всё лето жил, а она умерла в городе, в Галиче. Я её не помню. Мне было пять.

- Мне тоже пять было, - сказала я прежде, чем подумала.
- Когда мама уехала.

- Уехала?

- Нет. - Я выдернула репей злее, чем надо. - Умерла. Все умерли.

- Бедная, - сказала Вера и положила мне руку на плечо, как кладут старшие, хотя она была младше меня на десять лет. - Тогда мы будем с тобой подругами. Дружить будем. Только ты не уезжай скоро.

- Недельку пробуду.

- Недельку - это мало. - Она поджала губы. - Недельку - это как гость. А гостям мы не рассказываем. Мы рассказываем только своим.

- А что рассказывать?

Вера оглянулась на дом, потом на аллею и наклонилась ко мне.

- Про Ганку, - сказала она шёпотом.

И лицо у неё изменилось, как меняется лицо у тех, кто впервые произносит вслух имя, которое до этого только писал.

- Кто такой Ганка?

- Странник. - Вера говорила быстро, срывая слова. - Он весной пришёл, хлеба просил. А потом опять пришёл и сразу ко мне. У него голос - сладкий, Нина. Он говорит такие слова... Он говорит, я первая краса в роду. Что он только гость, а гости не лгут. Он молитвы знает, все! А Манефа говорит - он не от Бога. Манефа дура, старая. Она всем завидует.

- Верочка. - Я взяла её за руки, и руки были мокрые от грядки и тряслись. - Сколько раз ты с ним виделась?

- Раза четыре. Он идёт из деревни мимо и на мостках. Мы с ним сидим. Он рассказывает про Иерусалим. Он обещал... Она замолчала.

- Что обещал?

- Что в Иванову ночь я увижу суженого. - Вера подняла на меня глаза. - Он говорит, у воды все видят суженого. Надо только веночек на воду пустить и за ним пойти. В воду войти. Он меня проведёт. Он обещал держать.

Внутри у меня всё опустилось - как опускается лифт, как опускается вода в колодце.

- Слушай меня. - Я говорила тихо и строго, как говорила

себе этой ночью. - К воде в Иванову ночь не ходят. Никто. Ни с ним, ни без него. Твой батюшка это знает, Дарья Петровна знает, твоя Манефа знает. Что бы он тебе ни обещал не ходи.

- А ты этнограф, - сказала Вера и встала, отряхивая фартук, - а боишься бабьих небылиц.

- Я боюсь, - сказала я, - потому что знаю их лучше тебя.

Она убежала в дом, обиженная, с мокрыми от земли руками. А я сидела на грядке и думала, что говорить нельзя почти ничего. Что я гость, «недельку». Что дневник её ещё не закончится тремя строчками - я прочту его сто лет спустя, в доме, который станет моим.

И что странник Ганка, которого она любит за сладкий голос, уже считает нас. Вечером за столом. Улыбаясь.

В полдень в дом пришла Лиза Бекетова - бойкая, румяная, в шляпке с васильками, сразу со словами:

- Вера Ивановна! Ваш брат - осёл! Ваш отец - ангел! Давайте я у вас пообедаю, мне дома дышать нечем!

И, обернувшись ко мне:

- А, этнограф! Здравствуйте! Вы тоже, наверное, думаете, что я стерва? Все думают. Я терпеливая. Просто у меня характер.

За обедом все смеялись. Гришка бросил в Андрея хлебом. Сергей Борисович грозил ложкой. Кузька стащил со стола котлету. Вера молчала и косилась на меня, обиженная.

А я смотрела в окно, на аллею, где тень от лип падала на мостки, и считала дни.

До Ивана - две недели.

Через две недели в моём протоколе - два имени. Одно из них её.

Глава 7. Мельница

С Дмитрием по деревне мы ходили с тетрадью и с корзиной. Корзина была для вида, чтобы бабы не пугались. Первым дядя Фома, кузнец, с руками в саже и с усами навывпуск.

- Волошница? - переспрашивал он, перековыряя в горне.
- Ну. Она у нас считается. Кто хлеб кладёт на плотину, тому и рыба, и погода. Прохор наш кладёт каждый вечер. Дед мой говаривал: вода у нас барыня, а барыню без хлеба не проведёшь.

- А если не класть? - спрашивала я.

- А зачем? - удивлялся Фома. - Разве дурной?

Дальше Прасковья, по улице Кикиморка, потому что пряла на пороге и в темноте видели её только по челноку. Она рассказала про ту, которая в воде живёт: не водяной, а баба. Прибрежница. У неё волосы по воде, как ряска, и голос твой, и она зовёт тебя твоим именем, только ласково. Кто пойдёт на ласковое имя, тот купается до второго пришествия.

- А вы слышали? - спрашивал Дмитрий.

- Я не иду, - говорила Прасковья. - Я пасена.

Мальчишки провожали нас хвостом и подсказывали: тут Лихо одноглазое сидит, тут на болоте плач слышно, а в лесу за усадьбой ходит Баба-Яга на ступе, только ступа у неё гнилая, прошлогодняя. Мы записывали всё: и ступу, и Лихо, и плач. Дмитрий писал скорописью, я печатными, и он гово-

рил, что мои буквы честнее, а его быстрее, и из этого выходит своя грамматика.

К вечеру тетрадь пополнилась семью листами. А ещё мы узнали главное: о Ганке. О нём говорили в каждом дворе, и говорили по-разному. Добрый старичок-молитвенник. Чудотворец с Фавора. Прохач с котомкой. А Прасковья сказала коротко, прищурясь:

- Он не ходит. Он обходит. Смотрит не глазами, а счётом.
- Что значит обходит? - записывал Дмитрий.
- Что сначала к собаке, потом к хозяйке, потом к дому, а человек последний, - говорила Прасковья. - Я считаю: он ищет имя. Ему имя дороже хлеба.

Вечером на веранде Дмитрий перечитал записи и сказал, не поднимая головы:

- Нина. Она зовёт именами. Он ищет имена. Вода платит за имя. У нас тут не поверья. У нас тут бухгалтерия.
- Добро пожаловать, - сказала я, - в мою профессию.

Мельницу Прохор показывал с гордостью: жернов, какого от Костромы до Галича не сыщешь, плотину дедову, гать ещё дедовее. И наконец хатку, где жил: с одной лавкой, с одной иконой и с полкой, на которой стояли шесть деревянных ложек.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.